

Миллениум

1996, источник: [здесь](#)

1. Джихад

« Когда двое садятся вместе за стол, или встают к барьеру, появляется третий — тот третий, который лишний: нахлебник, свидетель, пророк, беглец.

— М. Серр, «Гермес»

Пять лет назад было еще возможно занимать в этом мире третью позицию — ни «за», ни «против», по неприятию или по расчету, царство вне диалектики — пожалуй, даже место отшельничества; — исчезновение как проявленная воля к власти.

Но теперь есть лишь один мир — торжествующий «конец Истории», конец невыносимой боли, которая зовется воображением, а на самом деле — апофеоз кибернетического социального дарвинизма. Деньги объявляют себя законом природы и требуют абсолютной свободы. Полностью переместившись в сферу духа, освободившись от изношенной оболочки тела-производства, обращаясь, в бесконечности и безвременьи, по гностической нумисфере высоко над землей, отныне только деньги будут определять сознание.

20-й век завершился пять лет назад; это миллениум. Там, где нет второго, нет противостояния, там не может быть и третьего, не может быть «ни да, ни нет». Поэтому остается выбор: либо мы признаем себя «последними из людей», либо мы признаем себя оппозицией. (Либо автомонотония — либо автономия.) Все позиции отказа должны быть пересмотрены с новой точки зрения, основанной на новых стратегических требованиях. Можно сказать, что нас загнали в угол. Идеолог прошлого определил бы ситуацию как «объективно предреволюционную», в очередной раз. Вслед за временной автономной зоной, вслед за восстанием, вновь маячит необходимость революции — виден «джихад».

2. Одинаковость

Деньги 21-го века — это хаос, в то время как идеология века 20-го — не более, чем энтропия. И буржуазная, и антибуржуазная мысль предсказывала единый мир — мир сознания, объединенного наукой, — но лишь деньги на самом деле создадут этот мир. Деньги не движутся в кочевом цикле, ибо кочевник перемещается с места на место, в то время как деньги перемещаются по времени, уничтожая пространство. Деньги — не ризома, но хаос, явление безразмерности, неорганическое, но способное к размножению

[бесконечным регрессивным делением] — сексуальность мертвого тела.

Тем самым, «капитал» следует рассматривать как «странный аттрактор»[1]. Возможно, математика таких «вышедших из-под контроля» денег уже видна в эзотерических паутинах вроде сети SWIFT — частного интернета для банков и арбитражных домов — где за день триллион долларов перемещается в киберпространстве, и меньше, чем 5% из них, хоть отдаленно связаны с производством.

Единый мир допускает «хаос», но подавляет истинную сложность, сводя ее к одинаковости и к разделенности. Сознание само «включается в представление»; непосредственно переживаемый опыт, тот, что требует живого присутствия, запрещен, ибо он угрожает образованием еще одного мира, мира вне отведенных пределов. От небесного царства образов остается лишь экранная после-жизнь, гностический нуль-переход, стеклянное развоплощение. Бескрайнее одно и то же, разделенное на бесчисленные отсеки, неограниченность связей и бесконечное одиночество. Неизмеримое совпадение желаний, непреодолимое расстояние до их воплощения.

3. Управление желаниями

Единый мир не может упаковать наслаждение, но лишь образ наслаждения — зловещий герметизм, своего рода барака наоборот, Шварцшильдовский радиус[2], конечный пункт для желания. «Духовность наслаждения» — именно в присутствии, в том, что нельзя воспроизвести, не потеряв; — в том невыразимом, неприкосновенном, возможном только в «экономике дара», которая всегда существует (или изобретается заново) под спудом ортодоксии и паралича взаимоотношений обмена. Мы определяем «желание» именно как стремление к этому — а не как зуд, который проходит от денежной смазки. Радикальная теория предложила недавно модель желания, основанную на идее о том, что капитал оперирует потребностями и в состоянии их удовлетворить[3]. Поэтому желание объявлено эгоистичным и реакционным. Однако Беньямин уже доказал, что цель капитала — вовсе не удовлетворить потребности (т. е. доставить удовольствие) — но, напротив, довести тоску до предела, используя механизм «бегства за утопическим» («метафизические авантюры товара», перефразируя Маркса). Говорить, что капитал освобождает желания, есть семантический абсурд, основанный на «неправильном переводе», — порабощая желание, капитал освобождает себя. Двенадцать страстей — неподавленные двенадцать страстей — есть, по утверждению Фурье, единственная возможная основа Социальной Гармонии. Мы, возможно, используем другую нумерологию, но мы думаем так же.

Негативному герметизму и фальшивой чувственности единого мира оппозиция противопоставляет свой собственный гнозис, диалогику присутствия, наслаждение прорыва за представленное наслаждение — своего рода точильный камень. Не цензура и не управление образами, напротив — освобождение воображения от имперского владычества образа, от его покровительственного и назойливого присутствия везде и во всем. Образ сам по себе безвкусен, как биотехническая груша или помидор, — лишен запаха, как сама наша цивилизация, «безопасное общество», культура не более, чем выживания. Отчасти, наша борьба есть борьба против колониального слуха и имперского взора — за вкус, осязание,

запах и видимое «третьим глазом».

Желание растворилось в представлении — стало быть, его надо спасти. Требуется молчание и тайна, возможно, сокрытие образа под завесой, — в конечном счете, нужно восстановить чары запретного. Только тот эрос, что нацелен на побег из заключения в банальности образа (и здесь вряд ли важно сознательное устремление), не противоречит эстетике джихада; не имеет, кажется, никакого значения, проявляется ли он через привычные или нетрадиционные акты и роли.

Сексуальность сама по себе может рассматриваться как энтеогеническое[4] явление — подобно «священным растениям», она доставляет не только когнитивные формы, но и образное содержание. Праздничное веселье для нас — по меньшей мере, «серьезная шутка» [старое определение алхимии], а может быть, и ритуальная необходимость. «Просветление» — это также и материальный, телесный принцип, и наша тайна в том, что не только «ничто» Ницше может быть основанием для него.

4. Зеленая тень

Дикое, в природе и вне ее, символизирует как раз несводимость и нераздельность желания. Уничтожение нечеловеческого влечет уничтожение человеческого; культура определяется лишь по отношению к неокультуренному. В этом — глубина язычества; в Исламе, зеленый — геральдический цвет, ибо «вода, растительность и прекрасное лицо» (по словам Пророка) суть категории, привилегированные онтологически, — именно они дают базис для эзотерического отказа от одинаковости и разделенности: божественное как различия, неуничтожимые и непосредственные, не только в «Природе», но даже в саду или в мегаполисе — как в органическом кристалле, спонтанно возникшем из желания жизнью самой себя. Возможно, что всю «настоящую» дикую природу уже свели в картомантический[5] каталог Управления Желаний — в конце концов, единый мир не приемлет ничего иного — но, даже если и так, призрак ее не покинул этот самый единый мир. Ее можно вызвать вновь; ее можно восстановить.

Но если Природа лишается природной сущности под убийственным объективно-музейным взглядом и если «все» опосредованно (включая «прямое чувственное восприятие»), то как же мы можем говорить о восстановлении «непосредственности»? Во-первых, дело в том (если использовать иную терминологию), что отнюдь не все «включено в представление». Очевидно, что претензии единого мира на единство лишены оснований — по определению, у каждого куска, заключенного в представление, сохраняется внешняя сторона; не говоря уже об области многозначности, о зыбкости вдоль каждой границы. Единство представляет себя неуязвимым — но слабость его очевидна, как только мы замечаем, что оно не отражается в непосредственном, живом опыте, а лишь проявляется как перемещенность, пустота, скука, бессилие; возможно, именно в этот момент «разрывается завеса» и мы видим отблеск будущего, или, по крайней мере, желанного будущего. Во-вторых: мы можем говорить о восстановлении потому, что даже не всякое представление, произведенное в рамках единства или заключенное в его клетку, эффективно как репрессивный механизм. Сам язык насыщен (иногда непреднамеренной) поэтикой самопреодоления, субверсией,

«взрывом чудесного». Кажется, что жизнь вступает в заговор с неокруженным пространством, и само представление в конце концов стремится прочь от представленности.

5. Наличие

Зеленым насильственно обозначили проклятое плодородие денег, их противоестественную плодовитость — алхимию экспроприации, бесконечный вес привилегированных каст, масонский надзор. Превозмогая собственную текстуру, они превращаются в чистое представление; однако с самого начала, с первых глиняных бирок и монет из электрума, деньги есть не что иное, как долг, не что иное, как недостача.

Деньги «сами по себе», как простое платежное средство, сохраняют некоторую невинность — «бедные», так сказать, деньги, лишённые роста и выброшенные, собственно, в обращение. На таком уровне деньги могут быть полезны даже и во временной автономной зоне; но, говоря о джихаде, мы рассматриваем, и должны рассматривать, деньги как нечто под знаком Капитала, как мерило экспроприации и как основной миф, порождающий разделенность.

Когда же деньги преодолеют с помощью виртуальности свою физическую природу, когда каждая транзакция, каждое волнение эфира будет давать процент, «бедные» деньги уступят дорогу «чистым» деньгам. Кто же окажется в выигрыше?

Возникшая всемирная машина никогда не упадет, как спелое яблоко, в руки восставших масс; единый управляющий Глаз никогда не достанется народу (как будто одной из трех слепых норн); не будет ни мягкого, ни грубого перехода от Капитализма к какой-то экономической утопии, какому-то чудесному спасению в сознании, объединяющему просвещенный пост-рационализм со всеобщей культурой (и с удобными уголками для эксцентрических пережитков и туристского счастья) — никакая Социальная Демократия не возьмет управление в свои руки во имя народа. «Власть/ деньги» (как выражались старые аграрии) не во власти элиты (ни конспираторской, ни социальной); скорее, элита — во власти денег, в роли человеческой прислуги при каком-то научно-фантастическом монструозном искусственном интеллекте из внешнего киберпространства. Власть/деньги — это и есть всемирная машина; ее нельзя получить в наследство, ее можно только разобрать на куски. Достигнет ли нумисфера какого-то теоретического предела, после которого мыльный пузырь лопнет «сам по себе»? Верно ли, что Капитализм идет к последнему рубежу и последнему кризису, который кончит все кризисы, или же он найдет защиту, а то и способ получать прибыль на любом «пределе роста», любой хаотической пертурбации своей замкнутой удушающей атмосферы? [Оставайтесь с нами.] В любом случае, как заметил Густав Ландауэр, никакая «историческая неизбежность» не обещает возрождение революции в тот самый момент, когда Капитал торжественно объявляет диалектику закрытой.

Похоже, в некотором смысле, Капитализм стал «неизбежным» с момента изобретения искусственного дефицита — с момента первой экспроприации. Но где же в точности этот

момент? Введение сельского хозяйства — долгий и много раз обсуждавшийся кризис, но многие сельскохозяйственные племенные сообщества так же устойчиво антиавторитарны и так же ориентированы на дар, как чистейшие охотники/собиратели. И в древних иерархических государствах (Шумер, Египет, Китай времен династии Шань), и даже при феодализме сохраняется экономика взаимности и распределения; Рынок, «предсказанный» классической политэкономией, попросту не возникает (см. работы Карла Поланьи). Более того, каждый раз угроза его появления вызывает сопротивление почти провидческое (что мог бы предсказать Кластер — разделение и экспроприация никогда не приходят без боя и поэтому никогда не достигают своей абсолютной формы. На самом деле, не существует ни закона природы, требующего циркуляции и обмена, ни исторической необходимости, ни неизбежной атомарности социальной сферы, ни единого мира представления. Существует капитализм — но не только капитализм; другой полюс по отношению к нему — революция. И наоборот.

Удобный момент для объявления бунта никогда не наступит. Мы, вечные еретики, уже сделали выбор — в предыдущем ли воплощении, в мифическом ли времени-вне-времени, как будто нечто переосмысливает себя — в нас, или без нас, — и отказаться — значит обречь себя на чахлое смирение, на тепленькую недо-смерть. Не может быть возврата к невинности в экстазе шести сотен каналов, из которых некоторые работают со времен так называемого «Падения Римской Империи», а то и раннего неолита. Самое первое появление разделенности в самых ранних формах — денег и государства — есть рубеж нашей традиции, которой теперь около 10 000 лет; в конечном счете не важно, «тот ли это кризис», или не тот. В любом случае, выбор за нами.

6. Нападение на экран

Средства массовой одинаковости и разделенности представляют единый мир в самой религиозной из его форм — структурирование социального и разбиение его на образы. Простого осознания этого процесса не достаточно для того, чтобы его преодолеть, — оппозиция также должна принять форму религии, вновь наводя разбитые чары посредством контр-образов; здесь можно говорить о рационализме чудесного. Похоже, что единственный способ пойти дальше, чем простое противодействие (и тем самым, поглощение образом), — «сакрализация» нашей борьбы против одинаковости и разделенности; но только в случае неудачи мы будем вынуждены счесть «романтизмом» критику (или восхваление) нашего проекта. Пять лет назад средства массовой одинаковости и разделенности обрели почти ту же свободу и автономию, что и средство обмена — деньги. Теперь они сместили акцент: от простого подавления — к реализации и «междисциплинарному», нарушающему границы слиянию всех режимов представления (начиная с образования и заканчивая рекламой) в одну «полисемическую» катастрофу формы: тело, недвижимое перед экраном, телесное сведено к темноте, обретающей формы лишь при свете, источник которого — гностическая плерома, трансцендентное царство, откуда изгнаны все тела, — стеклянное небо.

Старомодный дуализм обрушился — тотальная топология задается теперь гносеографической географией денег, размерность которых стремится к нулю. «Зеркало производства» заменено полной прозрачностью, головокружением ночного кошмара. Земля,

труд, природа, само «я», сама жизнь, даже смерть — все можно переопределить и сделать основой обмена — все есть деньги.

Примечание: разумеется, все эти обобщения касаются не реальности, но, скорее, идеологии глобального Капитала (идеологии мошеннического «пост-идеологизма») — интоксцированных провозвестий «информационной экономики» — обмана «дерегуляции» (что говорить о революции, раз Капитал и так уничтожил все правила?) Само собой, на самом деле Капитал не преодолел производства, но всего лишь задвинул его куда-то в область кладбищенских служб и мусорных баков. Капитал желает экстаза, не тейлоризма; его страсть — бестелесность и чистота.

В конце концов технология экстатического управления останавливает в зародыше саму возможность выразить что-либо — например, с помощью биотехнического протезирования, либо через слияние тела с экраном. Фальшивая свадьба Эроса и Танатоса — окончательное окружение. «Великий джихад», разумеется, направлен против разделенного «я» — против удушения истинного я, того, которому необходимо выразить «своего господ», выразить свой глубинный смысл. Но не менее актуален, не менее напуган бараккой «малый джихад» — нападение на экран.

7. Нравственность насилия

Всякое парадоксальное возрождение нравственности начнется здесь, естественно, на руинах ортодоксии — и не возведет на них ничего более постоянного, чем черный шатры бедуинов Ибн-Халдуна[6]. И все-таки, раньше или позже джихад (борьба) приводит (через «та’авил», то есть герменевтическую экзегетику) вновь к шариату, то есть к закону. Но шариат также означает тропу или путь — он есть «бескрайняя дорога» странника, не имеющего цели. Ценности даются воображением, то есть движением. «Там, где остановились боги» — там и есть истинное. Но боги идут дальше; они подвижны, как свет на воде в пиндаровой оде.

Реальное покушение не безнравственно — оно попросту невозможно. Посыл «терроризма» в том, что никакого пристанища не существует; только кибергностическая свалка истории, полная боли и пустоты — ограниченная ответственность как космический принцип. Можно представить себе нравственность (может быть, даже «нравственность воображения»), базирующуюся на насилии против институций и идей — но в языке не хватает форм для подобных формулировок, и потому политическое повстанчество обрекает на неясность цели и даже на недостаток сосредоточенности. В любом случае, дело не в личном «духовном состоянии», а в реальной само-перестройке восприятия — в суфийских терминах, не состояние, но «временная остановка». Заимствуя фразу из исмаилизма, можно назвать это нашей версией Да’ва аль-Кадими, или Древней пропаганды — древней, потому что процесс ее рождения никогда не прекращался.

8. Fin de siècle

Для концепции утопического не осталось будущего. «Надежда вопреки безнадежности»; не требуется никакого реального выбора. Присутствующее всегда нечисто — только отсутствующее приобретает кристальную, остоновую форму совершенной вечности. Если хотите, моральное осуждение: нетерпимость ко всему, противоборствующему джихаду — но более никакого щегольства, никаких хрупких и утонченных конструкций своего я.

Самоотождествление посредством различия есть способ речи, а не только волевой акт; он имеет свое дао, спонтанное самоупорядочивание вместо самодержавного взгляда картезианства. Примененный к культуре («надстроенному» аспекту социального), этот способ речи либо устанавливает положительную обратную связь с «Природой», и дает тем самым возможность изменить мир-как-консенсус, либо представляет из себя преступную глупость.

Здесь вновь почти не важно «всего лишь» сознание; поэтому мы делаем упор на нестандартных состояниях, в которых преодолевается, «навыком» и концентрированным вниманием, дихотомия аутоинтеллектуальной рефлексии. Замыкание эстетического на себе и ментальная изоляция отрицают тот факт, что всякое наслаждение есть экспансия, что взаимность — в экспансии, лишенной хищничества. Раз бунт есть реакция и на одинаковость, и на разделенность, то по определению он состоит в стремлении к различию и присутствию — и, как говорили раньше френологи, к «сообщительности». Это ни простое «общение» — допускающее тоскливую опосредованность и бесплотность, — ни экстатическая «общность» (термин, отдающий обостренной авторитарностью вынужденного присутствия) — но, скорее, праздничное сообщничество — эротика социального.

9. Бунт ислама

Прудоновский федерализм, основанный на частностях, лишенных гегемонии, в «номадологической», или ризоматической взаимности синергетической солидарности — такова структура нашей революции. (Сама зубодробительность терминов показывает, как необходимо насытить жизнью теоретический горизонт!) Идеологи пост-просвещенческого времени воспримут с брезгливостью мысль о революционных импликациях такой религии, такого образа жизни, которые всегда, с самого начала противостоят монокультуре одинаковости и разделенности. Современные реакционеры ужаснутся идее взаимопроникновения, порам в нашей солидарности, сообщничеству и присутствию как взаимодополняющему, гармоничному резонансу «революционных различий».

В качестве примера возьмем ислам — гиперортодоксы и улемократы[7] не могут с легкостью сократить его до доминирующей/универсалистской идеологии, поскольку в нем присутствуют самые разнонаправленные формы «сакральной политики» — суфизм [например, Накшбанди], радикальный шиизм [например, Али Шариати], исмаилизм, исламский гуманизм, «зеленый путь» полковника Каддафи (отчасти нео-суфизм, отчасти анархо-синдикализм) и даже космополитический боснийский ислам. [Примечание: мы упоминаем эти течения не для того, чтобы со всеми из них согласиться, но для того, чтобы показать, что ислам не есть монолит «фундаментализма».]

Традиции терпимости, добровольчества, эгалитарности, забота о социальной справедливости, критика «ростовщичества», мистический утопизм и т. д. могут образовать созвездия новой пропаганды внутри ислама, непреклонно противостоящей когнитивному колониализму нумисферы, акцентирующей «эмпирические свободы», а не идеологию, критически относящейся к репрессивности внутри ислама, но приверженной его творческой энергии, сдержанности, ориентировке на внутреннее, воинственности и стилю. Озабоченность ислама загрязнением воображения, выраженная в буквальном сокрытии образа, дает джихаду мощное стратегическое обоснование; — сокрытое не отсутствует и не невидимо, ибо завеса обозначает его присутствие, его образную реальность, его силу. Сокрыто лишь *доселе невиданное*.

10. Почва

Племенные общества, предоставленные сами себе, воюют не столько ради гегемонии, сколько ради приключения — и, как отметил П. Кластр, такие горизонтальные военные действия (как и другие «примитивные» обычаи) на самом деле направлены против появления «государства» с его вертикальностью — насилие, как форма борьбы против разделенности, саму возможность которой племя всегда воспринимает как опасность и «зло» — насилие, как форма извечного раздробления, или раздела и перераспределения, власти. Джихад задуман не как возвращение к этой форме насилия, но как диалектическое воплощение ее скрытого смысла. По этому принципу, слияние разнообразных различий допускается не только в качестве утопического предположения, но и как возможное стратегическое объединение — как «машина войны». Густав Ландауэр ясно показал, что подобные группирования можно рассматривать и горизонтально (или «федеративно»), и вертикально — разумеется, не как категориальные сущности, но как фолк, народы, «нации» в смысле американских индейцев[8]. Реакционное быдло украло этот термин и, исказив, превратило его в худшего вида гегемонизм — но и этот термин можно спасти (что есть «приключение» само по себе). [Мы должны перечитать Прудона, Маркса, Ницше, Ландауэра, Фурье, Беньямина, Бахтина, ИРМ[9] и т. д. — так же, как Сапатистская армия национального освобождения (EZLN) перечитывает Сапату!]

Ландауэр также отметил, что в определенном смысле государство не есть абсолют, но внутреннее отношение. Поскольку власть сдвигается от национальной карты к «чистому» Капиталу, постольку внешнее государство как фокус оппозиции все больше теряет смысл. Варианта «нейтральности» не существует — либо зона есть часть единого мира, либо она включается в оппозицию. Когда оппозиционная зона совпадает с каким-либо политическим образованием, революция рассматривает возможность политического альянса. Великий джихад — против внутреннего отношения власти — всегда неизменен; но малый джихад, против внешнего ее проявления, постоянно меняет форму.

Примечание: все зависит от ощущения того, что две силы — автономия и федерация — не противоречат друг другу, но друг друга дополняют и даже вступают в сообщество; если это парадокс, то это парадокс, с которым и надо жить. С точки зрения федерализма и солидарности, следует противостоять этническим чисткам и воинствующему шовинизму, поскольку такой реакционный гегемонизм просто воспроизводит, и даже дополняет,

гегемонизм (и жестокость) единого мира. Но аутентичные (лишенные гегемонизма) различия следует защищать, потому что (или постольку, поскольку) они не могут, «не должны» быть стерты Молохом капиталистического сознания. Автономия без федерализма в лучшем случае нереальна, в худшем — реакционна, — но федерализм без автономии прямо угрожает единственному принципу, объединяющему джихад, — принципу самоопределения или «эмпирической свободы».

Для стратегического слияния сложность — не просто эстетическое требование, но необходимость, когнитивная герилья и зона сопротивления, царство неоднозначности, в котором восстание находит экономическую базу, свой *heartland*[10]. Каждая «нация», как традиционная, так и вновь образованная, и каждая группа, которая дрейфует горизонтально внутри этой среды или сквозь нее, — советы, союзы, комитеты, фестивали — на самом деле, каждый «суверенный индивид» — могут войти в федерацию на базе сиюминутного анти-гегемонистского фронта против самопровозглашенной тотальной одинаковости и разделенности, за мир присутствия и различий.

С определенной точки зрения, сила присутствия и солидарности возникает из реальности «класса» — хотя, если мы принимаем этот термин, мы должны учитывать огромные перестановки и калейдоскопические сдвиги смысла, которые разобрали и собрали его вновь, нам нужно лишить его украшений, приклеенных 19-м столетием, телоса единого мира, монокультуральной эстетики — его наукообразности, связанных с ним разочарований и фатализма. Дело не в «пролетаризации зон», но в бесшовном и «естественном» подавлении автономного сознания (и как раз здесь сознание важно).

11. Революционная сотериология

Итак, «спасаемый» джихадом «мир» состоит не только из той Природы, окончательное огораживание которой неизбежно повлечет за собой фатальное отчуждение сознания от всякой «изначальной близости», — но также из пространства культуры, из аутентичного становления — *Tierra y Libertad* («Земля и воля!»). Возможно, сельское хозяйство есть трагическое Падение с высот естественной экономики — (собирательство, охота, взаимность) — и даже катастрофический сдвиг в самом сознании. Но серьезное требование его отмены есть крипто-мальтузианский, биофобный нигилизм, подозрительно напоминающий гностическое самоубийство. Нравственность переустройства — это уже нравственность освобождения, и наоборот; ядро нового общества всегда уже зреет внутри старой скорлупы. Все, что единый мир пытается уничтожить или смешать с грязью, безошибочно приобретает для нас ауру органической жизни — это применимо ко всему спектру нашего нынешнего «позднего каменного века», даже к его фульеристским усовершенствованиям, даже к его сюрреалистическому урбанизму (даже Цивилизация» может быть «хорошей идеей», если освободить ее от хищнического детерминизма); в этом — определение нашего консерватизма. Таким образом, несмотря на все вышеперечисленное, несмотря на титанические опустошения, произведенные искусственным интеллектом Капитала, «спасаемый мир» порой отделен от «этого» мира лишь трещиной сатори, толщиной с волосок. Но вся наша непримиримая оппозиция

происходит из этой трещины. Миллениум всегда есть открытие текущего момента — но так же всегда он знаменует собой окончание мира.

12. Скрытый имам

Суть джихада: когда угнетение приобретает парадоксальную форму одновременно одинаковости и разделенности, сопротивление, оппозиция логически приходит к присутствию и различию — революционный парадокс. Ризоматическое, сегментарное, личностное общество, которое выделяется из перенасыщенной логики сопротивления, можно рассматривать с любой точки зрения, вертикальной или горизонтальной, диахронической или синхронной, этнической или эстетической — при наличии одного необходимого принципа, революционного, антигегемонистского принципа присутствия.

Наше теперешнее состояние — разглаженное и раздраженное невнимание — можно сравнить только с каким-нибудь эзотерическим средневековым грехом вроде духовной лени или экзистенциальной забывчивости; наше главное удовольствие — самим придумать для себя пропаганду, мощную, как гностический «Зов», эстетику раскаяния-и-обращения, то есть «самопреодоления», сорелевский миф Миллениума.

В конце концов, слепой паноптикон Капитала наиболее уязвим в сфере «магии» — контроля над событиями посредством манипуляции образами, герметического «действия на расстоянии». Если тонг есть возможная форма для новой пропаганды дела, то следует признать, что одно лишь эстетическое отшельничество (исчезновение как воля к власти) не даст тепла, достаточного для того, чтобы высидеть тайное яйцо. Все, что было когда-то *tertium quid*, теперь пришло (или скоро придет) либо к капитуляции, либо к оппозиции, к самовозгоранию, к восстанию против контроля над желанием и воображением внутри шарообразной клетки единого мира.

Но тайное, скрытое (язык сердца) дает тактическое преимущество в предреволюционной ситуации, и одно это уже возвращает революционной эстетике ее центральное место. Искусство скрытого избегает поглощения «дискурсом тотальности», базирующемся на образах, — и, таким образом, единственное из всех возможных форм, по-прежнему несет в себе извечное обещание искусства — изменение мира.

Примечание: термин «искусство» здесь использован в двух разных смыслах — первый из них, возможно, романтичен, потому что относится к дилемме собственно художника и к вопросу об «авангарде». Второй смысл, однако, имеет целью растворить всю проблему отделенности искусства в практике, которая «обычна» и которая пересекается (на самом деле, почти совпадает) с областью переживаемого опыта. Обычное и сверхобычное здесь более не противопоставлены, возможно, даже слиты в танце сплавленных разграничений. Грубый трюизм: момент совершенства формы есть сама ткань жизни, ее самонасыщение; именно в этом смысле традиционные культуры не видели разницы между искусством и жизнью. Если мы и говорим о «политическом искусстве», то лишь для обозначения того факта, что для нас Капитал определяет себя через раздел между этими двумя — которые «нельзя» разделить. Но это — проблема каждого «работника», и не только «работника

культуры» — и таким образом искусство в этом смысле приближается к полному тождеству с «революционным действием».

13. Вызов и ответ

Меньше, чем десять лет назад, «врага» все еще можно было представлять себе как Всемирную машину труда, или как Спектакль — и потому видеть сопротивление в отшельничестве, и даже в бегстве. Не упал еще огромный таинственный занавес, отделяющий нас от нашей воли, и ничто не мешало нам придумывать новые формы производства, игровые, автономные, или новые формы представления, аутентичные и дающие истинное удовольствие. Существовала очевидная цель — создавать (или поддерживать) альтернативные ячейки, реализующие эти новые формы практически, а сопротивление было тактическим средством защиты подобных зон (и временных, и постоянных). В айкидо нет понятия нападения — вы уклоняетесь от атаки, после чего сила атакующего обращается на себя и себя побеждает. Капитализм и впрямь во многом уступил подобной тактике, отчасти потому, что полагался на стратегию «третьей силы», отчасти из-за того, что идеологически не был готов разрешить собственные внутренние противоречия (например, «демократию»). Теперь ситуация изменилась. Капитализм освободил себя от своей собственной идеологической брони и более не считает нужным отдавать территорию какой-либо «третьей силе». Основатель айкидо умел увертываться от пуль, но никто не в силах уклониться от натиска такой силы, которая занимает все тактическое пространство. Эскапизм доступен «третьему гостю, нахлебнику», но не единственному противнику. Теперь капитализм может объявить войну и прямо разделаться, как с врагами, со всеми бывшими «альтернативами» (включая «демократию»). В этом смысле не мы выбрали для себя роль оппозиции — ее выбрали для нас.

В кендо говорят, что оборонительных приемов не существует, вернее, что единственный вид обороны — эффективное нападение. Однако атакующий, как в айкидо, находится в невыгодном положении (нарушение равновесия) — что же делать? Парадокс: подвергшись нападению, ударь первым. Ясно, что наши «альтернативы» теперь не просто занятные запасные варианты, но жизненно важные стратегические позиции. Революция, однако, не матч по кендо — и не карнавальная пьеса с моралью. По-видимому, наша тактика определится не столько историей, сколько желанием оставаться в истории — не «выживая», но продолжая жить. Напрашивается вопрос «что делать?» и на то имеется две причины: во-первых, уже сейчас существуют тысячи организаций, легально работающих на благо дел, революционных де-факто (или хотя бы достойных) — но нет организующего мифа, пропаганды, преобразующего «революционного сознания», способного преодолеть разделенность как реформистскую институционализацию и идеологический паралич [«раздача тем для борьбы»]. Во-вторых, большая часть «нелегальщины», к несчастью, обречена на контрпродуктивность и зализывание ран, и в точности по той же причине — нет сознания, точнее, нет метанойи, неразделенного сознания. В такой ситуации слияние кажется невозможным, и первое, с чем сталкивается джихад, — это грубая теоретическая необходимость осознать и обосновать собственное место в истории. Пока что разговоры о «предреволюционной ситуации» вызывают иронию, неизбежно связанную с подобными терминами (история как «кошмар») — какие именно видим мы знаки и на каком горизонте?

В этот момент надо вспомнить о том, что «пропаганда действием» изначально включала в себя «добрые дела» вместе с насильственными; поэтому временная автономная зона сохраняет свое значение не только сама по себе, но и как историческая реализация живого опыта, возможно, даже как способ пропаганды действием. Тогда восстание можно понимать как призыв к «постоянной автономной зоне»; и слияние многих подобных групп даст форму «миллениуму». Здесь даже «отшельничество» может быть ценно как тактика — если оно координируется и практикуется с оружием в руках и в массовом масштабе — «революционный мир».

Сформулировав подобную модель, видишь, как далеко мы находимся от ее воплощения. Мы хотели бы позволить себе роскошь и удовлетворить сырую экзистенциальную страсть к «действию», хотя бы к «анти-пессимизму» в каком-нибудь виде — но в текущий момент всякое обсуждение реальной тактики скорее всего окажется фатально (или смехотворно) преждевременным. Кроме того, вопрос «что мне делать?» — чуть ли не самый опосредованный из возможных и гарантирует полную невозможность любого ответа.

Таков наш удел: чтобы осознать все это, нам потребовалось пять лет. Все, что когда-то было «третьим путем», нужно продумать заново в свете единственного обстоятельства: нам противостоит единый мир, не два мира. Раз сопротивление выродилось в склочную ностальгию (1968 год так же «трагичен» для нас, как любое другое фиаско) — раз леваческая стервозность и фашистская мелочность столь привлекательны для выдохшихся радикалов — то это из-за того только, что, даже для себя, мы не признали этого нового обстоятельства, а именно, того, что, объявив себя абсолютом и выстроив мир вокруг этого заявления, Капитал вызвал к жизни своего старого смертельного врага (так обесчещенного 20-м столетием, такого скучного), вызвал его вновь и дал ему новое воплощение — последнего рубежа защиты для всего неподвластного — вызвал вновь революцию, вызвал джихад.

Нью-Йорк — Дублин,

1 сентября 1996 г.

Примечания

[1] Странный аттрактор — термин топологии. Аттрактор вообще — это точка, соответствующая устойчивым состояниям нелинейного динамического процесса. Странный аттрактор присущ нелинейной хаотической системе, в которой точки никогда не повторяются и орбиты никогда не пересекают друг друга, однако и те, и другие остаются внутри конкретной области в фазовом пространстве; *здесь и далее — прим. перев.*

[2] Радиус Шварцшильда — собственно радиус сферы Шварцшильда, возникающей при сжатии (коллапсе) космического тела (напр. звезды) в тот момент, когда из-за постоянного

возрастания силы гравитации скорость убегания с поверхности космического тела (т. н. вторая космическая скорость) становится равной скорости света. После этого из сферы Шварцшильда ничто не может вырваться наружу, и коллапсирующее тело превращается в «черную дыру». Название дано в честь немецкого астронома Карла Шварцшильда (1873–1916), впервые сформулировавшего положение об этом явлении; теоретическое обоснование процесса сделано Робертом Оппенгеймером в 1939 году.

[3] Речь идет о книге Ж. Делёза и Ф. Гваттари «Анти-Эдип» (1972).

[4] Энтеоген — галлюциноген, психоделик, психомиметик.

[5] Картомантия — гадание на картах (в т. ч. картах Таро).

[6] Чтобы понять смысл этой фразы (связанной с предыдущими), надо знать, что великий арабский мыслитель Вади-д-Дин Абд-ар Рахман Абу Зейд ибн Мухаммед ибн Хальдун аль Хадрами аль Андалуси аль Магриби аль Малики (1332–1406), более известный как просто Ибн-Хальдун, придерживался циклической точки зрения на развитие общества: каждое общество (государство, цивилизация) проходит стадии возникновения, развития, расцвета и краха — и на развалинах погибшей цивилизации вновь поселяются «варвары». Ибн-Хальдуну принадлежит ряд гениальных прозрений (вплоть до трудовой теории стоимости), почему в арабском мире среди левых социологов распространена точка зрения, что Ибн-Хальдун был «марксистом до Маркса». Эту точку зрения довел до западных левых известный западный левый социолог египетского происхождения Самир Амин.

[7] Улемы (улама), в букв. переводе с арабск. «ученые» — признанные и авторитетные знатоки теологии и религиозного права в исламском мире; группа, аналогичная духовенству у христиан — с той разницей, что в число улемов может войти любой, кто докажет свою компетентность, и включение в число улемов не требует отказа от светской профессии. Улемократия — здесь: признание только за улемами права толковать ислам.

[8] В английском языке индейские племена традиционно именуется «нациями», «Nations».

[9] ИРМ (Индустриальные рабочие мира, известны также как «уоббли», от англ. аббревиатуры IWW, Industrial Workers of the World) — боевой профсоюз, активно действовавший в США и Канаде в первой половине XX в. (небольшие филиалы ИРМ имелись также в Австралии, Южной Африке и ряде стран Латинской Америки). Создан в 1905 г. марксистами, опирался на принцип классовой борьбы и ставил своей целью уничтожение капитализма как системы. С 1908 г. — под контролем анархо-синдикалистов, что повлекло за собой отказ от политической борьбы. ИРМ провели свыше 150 крупных забастовок, во время I Мировой войны занимали последовательно антивоенные позиции, подвергались массовым репрессиям со стороны властей США. После создания в 1919 г. Компартии США большинство марксистов покинуло ИРМ. Максимальной численности профсоюз достигал в 1917 г. (130 тыс. человек), на протяжении 20–30-х гг. ИРМ постепенно теряли свое влияние и наконец превратились в небольшой сектантский профсоюз.

[10] глубокий тыл (англ. воен. термин)

Версия #2

Зверобой создал 13 мая 2025 00:45:23

Зверобой обновил 13 мая 2025 00:52:56